

Пролог

Он всё для нее делал, а она сучка.

Они орут друг на друга посреди Казанского вокзала, и она, видимо, говорит что-то мерзкое и неправильное, поэтому он даже не дожидается, пока она зайдет в вагон и найдет свое место. Он уходит по перрону обиженным шагом, не оборачивается, хотя раньше всегда дожидался проводницу, чтобы она обязательно сказала — *проводяющие, выходим*. Без этих слов муж как будто не имел права оставлять ее одну.

«Ты бы лучше к живым ревновал» — вот что сказала, сказала своему мужу Льву, который был с ней, вернул, спас. Волосы держал, когда от таблеток рвало, потом обнимал, когда знобило. И просто так обнимал. Всё делал, а она...

Аля даже пыталась объяснить, что нарочно никому, кроме него, о поездке в Самару не рассказала, потому что это не так важно, просто надо кое-что проверить. Она ненадолго, на несколько дней, а потом вернется, это Лев точно должен был понять.

Проводница заглядывает, торопливо перечисляет правила поведения в поезде, потом смотрит с жалостью, приносит кофе, и Аля уже представляет, как ложечка будет всю ночь звенеть о стекло.

— Скажите, я одна буду? — Аля спрашивает, с детства любила знать, радовалась, когда оказывалась одна в купе.

Проводница говорит, что узнает, но не возвращается. В купе быстро становится душно, и она снимает толстовку, оставшись в белой маечке на тонких бретельках, потом ложится и укрывается влажноватым пододеяльником.

Болит что-то на скуле. Она трогает рукой, намеренно сильно прижимая пальцы, чтобы почувствовать. Синяк? «Это что, это кто меня?» — смазывается мысль, летит. Что-то стучит в сердце и ниже сердца, отдается. Тук-тук, стук-стук. Это что? Она пробует не обращать внимания. Гладит синяк снова, не стирая, проявляя. Болит еще сильнее. «Так мне и надо, — она думает. — Так мне — еще и еще. Я заслужила. Стук-стук. Тук-тук».

Ведь это не муж, муж ее никогда не бил, только жалел. Даже смешно представлять — кто, Лёва, с его кудрявыми волосами, ласковыми руками с короткими пальцами? Он не мог, но всё явственнее в темноте под закрытыми веками представляется тот, кто *мог*. Извинился потом, конечно, в сущности, она была сама виновата, это она кричала, что раз у них никогда не будет детей, то нет смысла дальше жить вместе. Расстались они не из-за этого.

Сон быстро приходит, сминает в голове все мысли.

Аля открывает глаза в разбавленной неяркой лампочкой темноте. Ложечка лежит на столе рядом со стаканом, в котором вечером проводница принесла ей кофе. Когда успела вытащить, помнится же отчетливо звон, который стоял здесь всю ночь?

Тук-тук.

Проводница стучит в двери купе, приоткрывает — полоска света отсекает нижнюю полку Али, высвечивает

синие полоски на обнажившемся матрасе. Мелькают красные волосы проводницы, ее брови как будто нарисованные перманентным маркером с голубоватым оттенком. Уж у нее-то точно никогда не размажется косметика, даже если проводница разревется, как Аля во сне.

«Ну что же вы не вернулись, — думает Аля, — что же вы мне вчера не сказали?»

— Уважаемые пассажиры, просыпайтесь, через полчаса Самара.

Аля садится, трогает лицо — под глазами засохшие дорожки слёз, а веки опухли и покраснели. Проводница почему-то не уходит, ждет. Что-то еще нужно?

— А, вам же за кофе нужно деньги отдать, — вспоминает, — сколько там нужно?

— Да тут уже что, — проводница отмахивается, — нисколько.

Она сразу же уходит, но странно всё же — будто что-то сказать хотела, а не решилась. И почему — «тут уже что?».

В туалете смотрится в зеркало — никаких синяков, нечего было даже и проверять. Это всего лишь сон, кошмар. Наверное, проснулась, всхлипывая, хорошо еще, что в купе никого не было. Да и сейчас возле туалета никого, как будто проводница говорила слишком тихо и никого не разбудила, кроме нее.

Все в поезде будто под большой дозой кветиапина — не могут проснуться, тяжело чувствуют свои тела. У нее такое было, когда только принимать начала: тело привыкало, не могла проснуться до трех часов дня, никакая проводница не разбудила бы.

Когда она идет обратно, по-прежнему никого не видно, а все двери в купе закрыты.

Когда она возвращается, за окном уже показывается большая Волга, очистившаяся ото льда, и привязанные лодочки — раньше, когда она просто ездила в гости к Славе, ей всё время хотелось ненадолго выйти из поезда здесь, посмотреть, как река может быть такой огромной, что за травы с узкими длинными стеблями и желтыми пушистыми головками растут на ее берегах, как спят лодочки, какими веревками они привязаны к деревянным причалам. Какие ласточки-береговушки летят в сумерках над водой, охотясь на мошек и комаров.

А в городе совсем другие ласточки.

Она впирается ногтями в запястье, чтобы не думать о них. Ласточки вечно летали над их со Славой балконом по вечерам, когда солнце смотрело в Волгу, ловили насекомых, кричали. На балконе зачем-то был устроен большой металлический шкаф с отверстием сверху — почему-то ласточки всё время сбивались с пути и попадали в этот шкаф, так что ей приходилось каждый вечер проверять и выпускать тех, что попались. А однажды они со Славой куда-то уехали на несколько дней, а по возвращении нашли в шкафу мертвую ласточку. Аля тогда плакала несколько дней.

Вчера днем она зашла на сайт РЖД и купила билет — только туда, она всегда так делала, не хотела сразу думать о том, как станет *возвращаться*. Вчера же и мужу сказала, но он вначале как будто не понял зачем и даже вызвался проводить ее на Казанский. И уже там они не понимали, кричали друг на друга, хотя Лев плохо умеет кричать. Аля даже проверяет телефон — нет, ничего, ни словечка. Обиделся? Ладно, пусть. Через пару дней она вернется, и они помирятся.

А позавчера Слава написал ей: «Увидимся?», и это радостно, и легко, и так в его стиле, без предисловий и всех этих *здравствуй*, ничего не значащих и не стоящих.

Но только Слава ее мертв уже четыре года.

Он

Мама потом говорила, что я убил свою *первую* маму, но только это неправда. Я мало первую маму помню, только ее волосы, как она надо мной наклонялась и пахла огнем, но вначале просто собой, волосами. Это была осень, о которой мне почему-то с самого начала рассказывали, как какому-то дурачку. У нас в школе были тетрадки, в которых мы должны были описывать *окружающий мир* и рисовать его. Там на одной картинке было пустое небо, пустые клонящиеся ветки. Я закрасил всё рыжим-рыжим, желтым, одинаковым, потому что ветки и листья, которые сгорают в больших железных ящиках, похожи на мамины волосы. Я знал, что на самом деле сами ветви черные, а небо серое или синее, просто не было никакого смысла объяснять, почему я захотел сделать иначе. К тому же на небо я глядел редко, а на мамины волосы — каждый день. Одноклассники нарисовали как надо, никто не ошибся, но это значило только, что они ни о чем не *думали* по-настоящему.

Я же думал о маме, о листьях в железных ящиках — обо всем, чему суждено сгореть.

Потом ее вызвала учительница, посадила напротив себя и говорила, а мама молчала. Учительница

рассказала кое-что еще, о чем я не сообщил сам, хотя мог бы. Она рассказала маме о том, что после того, как одноклассники стали смеяться над моим рисунком, я взял остро заточенный простой карандаш и воткнул его девочке в руку. Не потому, что она смеялась громче всех или была мне как-то неприятна, нет. Она просто была рядом, и рука ее была самая тонкая, прозрачная. Я подумал, что воткну очень глубоко и ей будет по-настоящему больно. Услышал только хруст — странный, хороший, *приятный*.

Но она только неслышно выдохнула, вздрогнула и осталась стоять возле моей парты. Потом пошла и молча показала руку учительнице, уже с тонкой каемкой крови вокруг.

Вот тогда все и заголосили.

Потом, весь месяц, пока я не перешел из этой школы в другую, мне очень нравилось смотреть на руку девочки. Она боялась. А на руке осталось серо-черное пятнышко, оно с ней теперь навсегда будет. Мне нравилось представлять это *навсегда*, оставшееся от моих рук.

«Папе не буду говорить, — мрачнеет мама, когда мы идем к нашему деревянному дому. — А то он живого места на тебе не оставит. И хочется, чтобы неповадно было, а все равно жалко».

Но только я думаю, что ей не было меня жалко.

Глава 1

Чёрный

Из поезда выходит одна, не оглядывается на вокзал, объясняет себе, что просто вышла первая, а остальные сейчас выйдут тоже, пойдут к остановке автобуса или стоянке такси.

Она почему-то мчится сразу на Ленинградку, а не к их бывшему дому — успокоиться, что ли, поездную муть сбросить. На перроне мысленно пообещала себе, что не будет всматриваться в лица встречающих, надеясь разглядеть того, кто ей писал: «Правда, на фиг тебе это сдалось, Аленька, ты что, окончательно кукухой поехать хочешь?»

Раньше Слава встречал. Всегда, после каждой поездки, а если написал сейчас, то ведь тоже должен встретить? «Господи, и ведь бред-то какой. Бред, бред, бред».

«Нужно не думать о всяком, нужно написать Льву». Аля даже достает телефон, а потом вспоминает — они же поссорились и он ушел. Не написал ни словечка, хотя она ждала утром. «Не буду писать. Вообще всю поездку писать не буду, пусть знает».

Она идет сквозь мутные, немногочисленные улицы. Спотыкается о доски, отвалившиеся, видимо, от черного оконного проема какой-то заброшки. Заброшки были и раньше, вечно что-то стояло такое, рассыпающееся заживо, под зеленой дерюгой и досками, изъеденными гнилью.

На Ленинградке ветер.

На Ленинградке запах. Тяжелый, сладковатый, удушшающий, ни из одной пекарни так пахнуть не может, ни из одной кофейни. Она на пробу дергает дверь белоглазкой «Белотурки» — конечно, закрыто, но ведь и рано еще. На пыльные витрины она старается не смотреть.

Замерзший музыкант в черных перчатках с обрезанными пальцами-ниточками касается аккордеона, но звук появляется намного позже, с трудом проходя сквозь воздух. Аля никак не привыкнет заново к этому новому холоду — так дует с набережной, с Волжского проспекта, ветер насквозь проходит узкие улицы, перпендикулярные реке. Эти улицы называют здесь *спусками*. Ленинградский спуск, Маяковский спуск. Все они ведут вниз, на набережную, а дальше — в невероятную огромную пустоту Волги, что без единого огонечка, без маячка ночью, потому что местные переправляют на своих катерах на ту сторону нелегально. Поэтому и темнота. Можно, конечно, доехать до Речного вокзала и взять билет на теплоход, но Аля так никогда не делала. Какой смысл сорок минут толкаться на палубе, слушать, как дети громко пьют через трубочки апельсиновый сок? И сейчас бы так поплыла, на катере.

Каждое лето, впрочем, катера сталкиваются. Иногда такое даже в федеральные новости попадало,

но Аля давно не слышала о Самаре никаких новостей. Вернее, они приходили, тревожные, разные, но потом как сказали, что *положение стабилизировалось*, так все и поверили.

И она поверила.

Как отрезало.

Слава жил на новой набережной, в доме-интеграле, так и местные говорили, и все таксисты знали. Но заметно это не сразу, потому что если с земли, от подъездов если смотреть, то самый обыкновенный дом, хоть и длинный, а загибающийся где-то там, далеко, ближе к четвертому подъезду. Она вначале внимания не обращала — а больше на разные яркие цветы на клумбах, какой это был месяц? Месяц, когда она трясушимися руками распихивала по сумкам необходимое, а об остальном не думала. Кажется, сентябрь. Георгины и гортензии.

Аля прячет кисти в рукава куртки, ветер становится невыносимым. Справа еще одно кафе, но название незнакомое, наверное, открыли уже после того, как она уехала, — Аля заглядывает в окна, но они оказываются пустыми и темными. Когда оно успело закрыться? Наверное, ее не было слишком долго. Аля отворачивается от темных окон — кажется, в одно из них кто-то успел попасть камнем, и сеть тоненьких трещин с пауком-дырочкой по центру неприятно царапнула взгляд.

Нарочно, когда шла с вокзала, замечала изменения — так бывает, когда на каникулы возвращаешься в город, из которого уехал учиться. И всё видишь: и вокзал видишь, и достроенную часовню возле вокзала, на которую оглядывалась всё детство. Ее не было четыре года. И даже сейчас, на не согревающейся

никак весенней улице, она вспоминает те георгины и гортензии, к которым выходила всякий раз, когда спускалась с их пятого этажа. Интересно, есть ли они еще? Сейчас, конечно, где-то в земле, не успели появиться. Но это не значит, что цветов нет совсем.

Почему дом был похож на интеграл, кто придумал его так, кто выстроил?

Слава бы наверняка мог рассказать, он понимал в истории, помнил всё про свой город, все мелочи, памятники, исторические названия улиц.

Слава бы объяснил, но четыре года назад он упал с крыши.

Да, всё так и было.

Она выходит на улицу Куйбышева и долго идет вперед, закрываясь руками от ветра. Может быть, и тогда, на крыше, был такой ветер?..

Она подходит к кофейной палатке, которая, кажется, открыта, она такие еще в прошлой жизни здесь замечала — бело-красная, в виде огромного стаканчика с кофе, а там внутри человек, бариста, постучишь ему в окошко, появится лицо. Аля иногда представляла себя сидящей в этом стакане среди улицы, среди ветра.

— Мне большой американо, пожалуйста. Сахар и сливки не нужны.

Там кто-то смеется.

Не отвечает.

Она повторяет просьбу громче.

Бариста продолжает смеяться. Она прислоняется лбом к стеклу — и видит, что там не бариста, там сидит бездомный с шелушащимся красным лицом. Она отшатывается, но его смех еще долго звучит за спиной. Она успевает заметить краем глаза, что вся грудь

бездомного, его бесцветная олимпийка испачкана чем-то темным.

Бормочет что-то. Непонятное. «Какие еще сливки, у тебя чердак потек совсем?» — ей слышится. А может быть, и другое слово. Что было на его груди? На секунду Але кажется, что это кровь — что пробита грудь, будто какая металлическая труба или балка сорвалась, прорвала легкую футболку, впилась в тело. Вначале даже и не больно, просто горячо, не сразу замечаешь, с задержкой боль приходит, как в детстве, когда ударешься локтем об угол стола.

Кровь вытекает, рана пульсирует под пальцами.

Кровь вытекает.

Запах чего-то гниющего, теплого, *мучного* становится явственнее.

Вспомнила о Славе — тогда ведь было много крови, правда? Она особо не видела, ей не дали посмотреть, а Славу на руках нес Тролль... Она с силой вонзает ногти в запястье, чтобы не помнить и не думать. Нужно вспомнить, какая маршрутка довезет до их бывшего дома-интеграла, который отныне не их, да и они — не его. Она даже спрашивает на остановке на улице Куйбышева — а какая довезет, потому что она даже улицу забыла. Стоящие на остановке не отвечают.

Она пробует иначе.

— Вы автобуса ждете?

Не отвечают. Она решает просто сесть вместе со всеми, как делала раньше в чужих городах, — куда-то да привезет. Но автобусов нет, останавливается только белая разваленная «газель» без номеров, туда набиваются люди и ни о чем не спрашивают водителя.

— Эй, — ее локтя касается мужчина в лыжной шапочке, — ты к интегралу хотела, запрыгивай.

— Почему нет номеров? И чем так пахнет в городе, неужели вы не...

Она хочет продолжать спрашивать, но мужчина в лыжной шапочке неожиданно закрывает ей рот сухой морщинистой ладонью. Она успевает разглядеть даже грязь под его ногтями — хочется отшатнуться и орать, материться, но почему-то другие пассажиры молчат.

Сидят друг напротив друга и молчат. Никто не кричит водителю — на следующей, останови на следующей. И водитель останавливается на каждой *бывшей* автобусной остановке. Внутри душно и холодно. И почему-то никто не передает деньги за проезд.

Возле дома-интеграла они с мужчиной выходят.

— Вы чего меня трогали? Совсем уже? — Вот здесь-то можно покричать.

— Дура. Ей помогаешь, а она... — Мужчина сплевывает на асфальт, отворачивается. — Ты чего, с дуба рухнула? Это же *белая* маршрутка.

— Вижу, что не зеленая. А это что, дает вам право меня трогать, не пойму?

Мужчина сплевывает еще раз, мотает головой, уходит от остановки — хорошо, что в противоположную сторону, а то бы еще дворами с ним идти. Тьфу. Ей бы лицо помыть чем-нибудь сейчас, рот прополоскать. Аля вытирает губы тыльной стороной ладони, всё еще чувствуя мерзкий привкус чужой кожи.

Дом-интеграл стоит за другим домом, нормальным, что окнами на Ново-Садовую.

Сейчас, весной, на клумбах уже наметились цветы — раньше, чем в Москве. И легкая прошлогодняя темная трава заметна среди них, никуда не денешься. Аля чувствует запах земли. На скамеечке сидит старуха в слишком теплой шубе, закутанная в платок.

— Ты чего здесь?

Аля оглядывается, но больше никого.

— К кому?

Старуха разглядывает ее из-под платка.

— Я жила здесь давно, вот приехала...

Зачем приехала — посмотреть? Поплакать? Но и слёз нет.

— Я тут всю жизнь живу, а тебя не видела.

Аля понимает, что ее наверняка видела раньше, просто всё забылось, расплылось в мареве, она так в больнице и описывала это, когда психолог спрашивал — истаяло, нет больше, вот как будто акварельную краску в море вылили, секундочку она там побыла, а потом пропала.

Но бабки-то обычно всё помнят.

— Нет, а может, и видела я тебя где, так уж и сказать сложно. Волосы отросли, что ли? Беленькая такая ходила?

Она кивает. Она Аля — Аленький цветочек, но совершенно не как из сказки, когда были, например, Розочка и Беляночка. Вернее, она тогда Беляночкой была, которую убили первой.

— А, поняла, ты беленькая та и есть, значит. Та, что с мальчиком жила.

Аля чувствует, что слезы близко. Поднимает голову — там их бывший простой незастекленный

балкон, на котором вечно стояли деревянные старые стулья. Она не выбрасывала — представляла, как однажды весной она всё разберет разом на балконе, чисто отмоет покрашенные, осыпающиеся синей краской доски, вынесет мусор, выметет птичий помет и перышки ласточек, но так ничего и не произошло, а вот и балкон уже не их.

Выйдет ли другой, новый человек на балкон, выметет ли всю смерть, оставшуюся от зимы? Она хочет постоять здесь и дожидаться, когда кто-нибудь выйдет на балкон. Хочет увидеть лицо человека, пускай он не будет похож ни на кого, пускай будет сам по себе, отличающийся, особенный, свой человек.

Вдруг какое-то движение — она отходит назад, подальше от старухи, задирает подбородок и щурится.

Кто-то выходит на их балкон.

У него темные волосы, на нем белая футболка.

Секунду ей кажется, что футболка его покрыта темно-коричневыми пятнышками, пылью, засохшей грязью — будто упал в детстве с велосипеда, а потом поднялся, отряхнулся, потрогал содранную кожу на локтях, волосы за уши заправил, чтобы не мешались, а сам пошел велосипед поднимать. В школе рассказывали про девочку, которую так сбил грузовик, — и Аля представляла себе, как она поднимается там, на небе, трогает ссадины, повисшие лоскуты кожи, смахивает приставшую траву, и землю, и крошки асфальта — и тоже поднимает велосипед, погнутый немного, грязный, но живой.

Как и тот, что сейчас стоит на балконе.

Это Слава.

Она кричит.

Но Слава четыре года назад упал с крыши старого элеватора, и никакая сила его бы после этого не собрала. Они его подняли потом, конечно. Это было неправильно, но она не успела сказать, закричать — нельзя, этого ни в коем случае нельзя делать, потому что может быть травма позвоночника, неужели вы не учили?..

Слава!

Крики терялись где-то в ветвях, уносились за реку, за Самарку. Она увидела тогда, что Славу нес Тролль, недолго, хотя по-хорошему должен был нести Чёрный, ведь это он сильным был, он хвастался своими широкими плечами, большими руками, а Тролль был просто полным, одышливым.

Старуха поднимает руки, закрывает уши ладонями от ее крика — значит, можно не прощаться. Аля поворачивается к ней спиной и бежит вверх по ледяной Ново-Садовой.

Может, это всё остаточное действие таблеток. Хотела увидеть его — и увидела. Или всё еще проще — снял квартиру какой-то мальчик, мало ли темноволосых?

Она здесь одна, совсем одна.

Но она знает, кого искать.

Он мог быть где угодно, но оказался здесь, в ледяном переходе возле КЗ «Звезда», местные говорили просто у *Звезды*, и она говорила.

Аля останавливается напротив. В переходе нет ветра, но воздух холодный, бессолнечный.

Он играет «Пачку сигарет» — он, который слушал только разное зарубежное и редкое, вечно сыпал названиями групп, о которых она даже не слышала. В его руках дешевая китайская гитара, как раньше

говорили — *костровая*. Наверное, когда он только спустился в переход, гитара была настроена, но сейчас строй сильно съехал от влажности и перепадов температуры. Даже она слышит, хотя раньше слышала не всегда, разве что совсем расстроенный инструмент. И теперь тот случай.

Он поет.

Чёрный.

Но голос тоже расстроен, почти как гитара, звучит простуженно и хрипло — где-то под этими неприятными подхрипываниями слышится знакомый тембр, но с каждой строчкой он всё меньше заметен. И еще одно бросается в глаза — Чёрный кажется больным, заторможенным, а глаза красными сосудиками пошли.

И билет на самолет с серебристым крылом...

Он не черный совсем, Чёрный. У него длинные русые волосы, длиннее, чем у нее. Когда она уезжала, он хотел научиться петь, но, конечно, так и не нашел денег на преподавателя.

— Чёрный, — тихонечко зовет она, дождавшись, когда прозвучит последнее слово, не зная, как прозвучит голос, узнает ли он по голосу, — хорошо поёшь...

— Да ну тебя, — он откликается сразу же, убирает гитару в чехол, — мне до хорошо как до Китая раком, ну, ты понимаешь, заниматься же надо, петь... Распевка вот. Ми-и-и-и, ля-ля-ля-ля. Или как они там распеваются? Ой, слушай, не поверишь: тащусь я однажды вот по этому же дебильному переходу, с бодунища или после синьки, не помню уже, не суть. И слышу голос такой — тоненький, ангельский, псалмы какие-то поет, что ли. Ну, думаю, всё, Чернец, Чернявый, Черномазенький, приехали, вот у тебя мозги и просквозило,

что голоса мерещатся. И песни еще, псалмы, понимаешь. Подхожу — стоит женщина, девушка даже скорее, в очках, в платке. И что самое смешное — нигде нет рядом ни коробки, ни чехла от гитары, куда деньги можно кинуть. Я не очень часто кидаю, не потому что жалко, а просто обычно плохо поют, гнусаво. И только русский рок, ничего же нет другого. А хотя я вот тоже, блин... ха. Вот что она здесь забыла такая, спрашивается? А красиво так... Подошел, расспросил. Оказывается, она поет в церковном хоре, а в переходе распевается — реверберация хорошая, вот и ходит. Не собирает деньги, а могла бы. Я офигел. Ты сама поёшь еще? Вот и имей в виду тоже — в переходе, когда реверберация, ага. Или у вас в Москве сейчас в переходах не поют?

— Чёрный...

Аля начинает неуверенно. Как тут скажешь? Да и он говорит так, словно они вчера расстались — словно не было никаких четырех лет.

— Что? Да понятно, что она всю жизнь занимается, а я что? Недоучка, так и буду недоучкой по всем фронтам. И по гитаре вон тоже. Сколько я за сегодня заработал, как думаешь?

Аля понимает, что так просто не вклинить с собой, со своими рассуждениями, нужно с ним побыть.

— Ага, норм... На банку энергетика и сигареты хватит. Но я тут несколько часов стоял, вчера подростков видел, девчонок — наверняка у них больше было. А у них родители есть, на что им тратить? Косметос себе дешманский возьмут, те же сигареты. Хотя сейчас не больно купишь, но это не суть... А у меня двое детей.

Он сворачивает какие-то бумажки, что ему люди набросали в чехол.

— А это что? Разве деньги?..

Он мельком смотрит на бумажки, потом убирает во внутренний карман.

— Не совсем деньги, но сойдет. Да деньги, деньги, да, не смотри так, у меня еще не совсем кукуха засвистела. Талоны.

— Какие еще талоны? На молочную кухню?

Аля и сама не понимает, откуда взяла такое.

— Почти. Пойдем отсюда, пока мародеры не заявились.

Спятил?

— Ты не работаешь сейчас?

Он смотрит на нее как на дурочку.

— А как же? На что же, по-твоему, я живу? Что детям отправляю? Конечно, работаю. Вот тут и работаю. Тут не Москва, не гонят пока. Да вроде и пою не совсем отвратительно.

Ей становится жалко его — как и раньше. На макушке у Чёрного волосы совсем поредели, и она отчего-то вспоминает, как Чёрный стал Чёрным.

Они пытались здесь сделать *black metal* группу, серьезно пытались. Как *Burzum*. Не очень она этим увлеклась, но эстетика нравилась. А в доме у Чёрного полным-полно всякой атрибутики было — даже череп волчонка с раскрошившимися глазными впадинами, бубны, звериные маски. И когда придумывали ему псевдоним для сцены, вспомнили, что у него и фамилия почти такая же. Оставили. А так вообще бы Волк был, что само по себе немного смешно.

— Я же сказала — хорошо вышло, хорошо получилось у тебя. Чёрный... — она молчит недолго, — ты в курсе, что меня не было четыре года? Я удивилась, что ты вообще вспомнил...

— У меня пока нет Альцгеймера вроде. Что ж тут не вспомнить? Мы же с тобой пели.

— Не только пели.

— Ах, вот ты о чем... Не в переходе давай.

Он сворачивается, долго собирается, будто с репетиции, на которую с собой провода берут, педали, микрофоны.

— А где?

— Пойдем в мою старую берлогу, ты же помнишь, где я жил. Как раз на трамвай еще останется, если прямо сейчас энергосами затаримся. Зайдешь со мной?

И они идут в магазин, по дороге Аля не выдерживает:

— Тебе что, не любопытно узнать, почему я приехала? Вы же наверняка думали, что я не вернусь? И что происходит в городе, что за хрень? Почему купить сигареты — это проблема? Что за фантики тебе в кофр кидают, а ты берешь?

— Да не проблема. Не ссы. Всё можно купить, надо только знать — где. Немного зажали город, но ничего, это закончится скоро, не дрейфь. Хотя хрень, да, не спорю. Всё, нам сюда.

Но только вход в магазин — в привычный магазин, в котором обычно продается дешевое вино, — почему-то оказывается закрыт, просто на амбарный замок, без всяких объявлений.

— Он же не работает...

— Ну не с парадного же входа, балда.

Она кривится, но прощает ему это. Они огибают дом, подходят к служебному входу, пахнущему пивом и еще чем-то острым. Чёрный стучится в дверь каким-то особым образом.

— Не смотри так, я скоро...

И он здоровается с кем-то невидимым ей, протягивает фантики, *талоны*. Скоро приносят банку энергетика и самые дешевые сигареты.

— А зачем такие сложности? Сходили бы в другой магазин...

— В какой — другой? Говорю же, что у нас всё изменилось. А сиги здесь хорошие, блатные, по нормальной цене мне хозяин дает, как это у нас заведено. И дошки оставляет, и тушенку иногда. А я для него кое-что делаю, но неважно. Ты как сама? Как здесь оказалась? Станция «Самара-Выжившая», уважаемые пассажиры, поезд дальше не идет? Как ты вообще приехала?

— На поезде, как еще. Приезжаю, а здесь... Чёрный, куда делись автобусы? Что такое белые маршрутки, почему в них нужно молчать?

— Ой, да забей, они, наверное, пошутили. Идем домой? Я всё взял, что хотел.

— Чёрный. Вы думали, что я никогда не приеду уже?

— Нет, почему? Лиса думала, что приедешь. Она так сразу и сказала, что, мол, обратно как миленькая прискачешь. Только она грубее сказала, это же Лиса. Только потом, когда у тебя мужик появился...

— Был мужик, но он теперь муж.

— Ну, видишь, как оно бывает... Короче, когда уже появляется муж — обычно не приезжают. Что тебе здесь делать?

— Мне было очень плохо. Москва — новое место, новые дома, где ничего не напоминало. А Лиса твоя всегда меня недолюбливала, как ты ее сам выносишь?

— Ну ты же сама сказала, — Чёрный перебивает, — ты же сказала, что прошло четыре года. А она мать моих детей. Тут хочешь не хочешь, а общаться придется. Ну и вообще с постной мордой этого делать не хочется, потому что тогда от самого себя противно. Лиска, конечно, не ангельского нрава, что уж говорить. Ну так и я не подарок. Как-то примирились друг с другом.

— То есть ты простил ей, что она тогда...

— Слушай, ну ты что — о ней приехала разговаривать?

— Нет. Но я тебя искала. Не знаю, как сказать...

Он кивает, пробует энергетик. Трамвай приходит переполненный, налитый до краев сухим царапающим воздухом. Пахнет мехом, приторными духами, грязью, потом, электричеством, холодом.

— Трамваи все-таки ходят, получается.

— Ага, здесь остался, потому что проспект Ленина... Одно место такое.

— А что в других местах?

Чёрный пожимает плечами.

— Может, и вправду ничего такого нет. Трамвай как трамвай.

— Ну не скажи, ты же видела хер да ни хера... Иногда втиснуться не успеваешь, он так и уезжает, даже двери не закрывает, потому что люди наружу высовываются. То еще зрелище, конечно. А вообще хорошо, почти до дома нас довезет. Покурим только еще,azole подъезда постоим?

Они стоят.

— Так вот, — она начинает, все-таки собирает себя, — понимаю, что ты решишь, что я чокнутая. Так все решили. Все, все.

— Ой, да кто теперь не чокнутый? Прекрати! Что стряслось?

Она вдыхает.

Выдыхает. Остывший воздух попадает в легкие, царапает там что-то, как будто и они давно отвыкли от этого города.

— Он мне написал.

— Он?

— Написал мне, говорю.

— И?

— Написал мне!

— Я понял, не тупой же, что дальше? Не ори. Кто — он? И почему ты рассказываешь так, как будто тебе сам Господь Бог написал? Тьфу ты, блин. Ну ты поняла.

— Поняла. Но странно, что ты совсем не понимаешь. Мы же — ну, не дружили, конечно, но что-то пытались. Музыку играли, и не такую, как ты в переходе...

— Да еще не то сыграешь, когда жизнь раком поставит. И ты не больно гони на Витю, он тоже несчастный был.

— На какого еще Витю?..

Она опять хочет наорать, потом понимает.

— Чёрный. Мне Слава написал. Позавчера.

Чёрный молчит, несколько раз стряхивает пепел. Она наблюдает, как он падает на землю, становится почти невидимым.

— Ага, понятно. Пойдем домой.

И они идут в его квартиру на первом этаже — это не его квартира, конечно, он просто живет в комнате у знакомого звукорежиссера, который еще тогда пустил его, вонючего, в депрессии, только после развода. Это здесь бубны и череп волчонка, здесь они записывали первые демки, из которых ничего не получилось.

Она садится на диван с красным покрывалом в белой кошачьей шерсти.

— А где Ленка? Я помню, у тебя была кошка...

— Тут Ленка, сейчас прибежит, зараза такая, тебя почует. И жрать потребует.

— Ты слышал, что я сказала?

— Ну слышал. А что я на это могу ответить? Покажи сообщение.

— Не хочу.

— Ну а как ты хочешь, чтобы я тебе поверил?

— Никак. Просто на слово. Я не сумасшедшая. Да там всего одно слово.

— Ну?

Она медлит, сознавая, что выглядит всё так, будто она придумала это слово.

— «Увидимся?»

— И?

— Всё. Одно слово. Я правду говорю. Я бы не приехала, мне здесь тяжело. Все эти дома... Мы же тут жили. Я и к «интегралу» съездила.

Чёрный поднимается со стула, открывает дверь и впускает кошку Ленку. Это у нее столько белых жестких шерстинок, что они облепили всё покрывало, красного цвета под собой почти не оставив.

— Ленка, Леночка... — Кошка запрыгивает на диван, это явно ее место. Аля опускает руку, гладит ее между ушами. — Она выросла.

— Ну и на фиг ты ездила к интегралу, пореветь? Не жалко себя? Кошки не растут. Они сразу такими получаются, как есть. Вначале котята, а потом — взрослые кошки, никаких подростков не бывает.

— Ты всегда придумывал, а я верила... Придумал, что мы с тобой в международное турне поедem, а как я смеялась? Я же думала, что буду петь. Может быть, и не так, как твоя девушка в переходе, но тоже хорошо. Я же занималась. Ты же помнишь, как я занималась. Нашла настоящего педагога по вокалу, хотя в Самаре это было нелегко...

Хочется рассказать, поделиться, но Аля и сама чувствует, что не об этом, что сейчас-то как раз и все равно, будет она петь или нет.

— Ну так и что ты думаешь делать?

— Может, написать ему — мол, где увидимся? Только это совсем кринж какой-то будет, да? Какой-то придурок написал, а я поверила.

— А ты примчалась. На следующий день. Не просто поверила.

Он включает музыку.

— Да. Да.

— Да ладно тебе, я что же, не понимаю... Ты как сама, лучше? Я вот нашел триптофан в таблетках, пью, вроде отпустило маленько... А тебе что помогло?

— Ничего мне не помогло. Хочу разобраться, кто...

— Нельзя с этим разобраться, Аленький ты цветок. Тут такая дичь творится, но ты сама всё увидишь. Всё, случилось то, что случилось, смиришься с этим,